



## П. ЩЕБАЛЬСКИЙ

### Глава из истории нашей литературы

(отрывок)

В 1836 году в московском журнале «Телескоп» напечатано было одно из «Философических писем» Чаадаева\*. Об этом «Письме», а также и о его авторе было много писано в последние двадцать лет, но едва ли и он и оно представлены в надлежащем освещении. Так, например, г. Пыпин в многочисленных своих исследованиях изображает Чаадаева прежде всего и по преимуществу скептиком; третья глава его «Характеристик литературных мнений», озаглавленная «Проявления скептицизма», почти вся посвящена Чаадаеву. По мнению г. Пыпина, Чаадаев был великий скептик и родоначальник скептицизма в России. В этом нет и тени правды. Надеемся подкрепить это заявление вескими доказательствами, из коих первое — самое содержание статьи Чаадаева.

«Философических писем» написано было Чаадаевым не менее трех<sup>1</sup>. В «Телескопе» же напечатано только первое, появление коего не только повлекло за собою запрещение продолжать печатание «Писем», но прекращен был и самый журнал<sup>2</sup>. Письмо Чаадаева адресовано к какой-то даме, жаждущей духовной истины<sup>3</sup>. Чаадаев советует ей обратить прежде всего внимание на внешность религии, на обряд. «Кажется, — пишет он, — я говорил вам однажды, что религиозное чувство поддерживается лучше всего исполнением постановлений церкви. Это упражнение в покорности, которое заключает в себе гораздо более, нежели предполагают, которое налагали на себя величайшие умы по зрелому рассуждению, с полным сознанием, есть настоящее чествование Бога...»<sup>4</sup> Кажется, это не язык и не мысли скептика. Автор настаивает на этой мысли и заявля-

\* Оно перепечатано in extenso [полностью (лат.) — Примеч. сост.], кажется, единственно в «Полярной звезде» Герцена.

ет, что она может показаться новою только у нас. Но, говорит он, одна из наших жалких особенностей состоит в том, «что истины, давно известные в других странах и даже у народов, во многих отношениях меньше нас образованных, у нас только что открываются. И это оттого, что мы никогда не шли вместе с другими народами»... Последняя мысль составляет основу содержания всего письма Чаадаева, и к развитию ее он приступает немедленно. «Мы, — говорит он, — не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества — ни к Западу, ни к Востоку — и не имеем преданий ни того ни другого. Мы существуем как бы вне времени, и всемирное развитие человеческого образования не коснулось нас». Оттого все у нас неустойчиво, шатко, смутно; «нет добрых обычаев, нет даже семейного средоточия»... «Дома мы будто на постое, в семействах как чужие, в городах как будто кочуем». Такими создала нас история. «В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое, унижительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и донныне. Вот горестная история нашей юности! Мы совсем не имели возраста этой безмерной деятельности, этой поэтической игры нравственных сил народа. Эпоха нашей общественной жизни, соответствующая этому возрасту, наполнена существованием темным, бесцветным, без сил, без энергии. Нет в памяти чарующих воспоминаний, нет сильных, наставительных примеров в народных преданиях». «Чтобы сравниться с прочими образованными народами, нам надобно переначать для себя все воспитание человеческого рода. Для этого пред нами история народов и плоды движения веков».

«Мы, — продолжает Чаадаев, — явились в мир как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего». «Это есть следствие образования совершенно привозного, подражательного. У нас нет развития собственного, самобытного, совершенствования логического. Старые идеи уничтожаются новыми, потому что последние не истекают из первых, а западают к нам Бог знает откуда». «Мы растем, но не зреем». «Мы подобны детям, которых не заставляли рассуждать; возмужав, они не имеют ничего собственного; все их знание во внешности их существования, во внешности вся душа их». Возвращаясь к мысли о наследии (Рима и Греции?) романских и германских народов, Чаадаев называет это «атмосферой Запада», в которой «каждое частное лицо без утомления, без труда собирает на жизненном пути сведения,

рассеянные в обществе, и употребляет их в свою пользу». У нас этого нет, и вот одна из причин нашего приниженого положения в человеческой семье, выражающегося в самой даже внешности нашей: «в нашем взгляде я нахожу что-то чрезвычайно неопределенное, холодное, несколько сходное с физиономией народов, стоящих на низших ступенях общественной лестницы».

«Массы сами не думают; посреди них есть мыслители, которые думают за них, возбуждают собирательное разумение нации и заставляют ее двигаться вперед. Такие двигатели были у западных народов даже в варварские времена: кельты, скандинавы, германцы имели друидов, скальдов, бардов; это были сильные мыслители, разумеется в своем роде». «Теперь спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители?» «Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества, ничем не содействовали совершенствованию человеческого разума и исказили все, что сообщило нам это совершенствование». Мало того: «в крови у нас есть что-то отталкивающее, враждебное просвещению»...

«Ведомые злою судьбою, мы заимствовали первые семена нравственного и умственного просвещения у растленной, презираемой всеми народами Византии. Мелкая суетность только что оторвала ее от всемирного братства, и мы приняли от нее идею, искаженную человеческою страстию. Что же вышло? Вся история Запада развилась из христианского начала, она проникнута стремлением к объединению человеческой мысли; «всякое побуждение проявлялось могучею потребностью отыскать одну всемирную идею»... «Характер новейшего общества был уже определен; миру христианскому недоставало только форм прекрасного, и он отыскал их, обратив взоры на древности язычества... Уединившись в своих пустынях, мы не видали ничего происходившего в Европе. Мы не вмешивались в великое дело мира. Мы остались чужды высоким доблестям, которыми религия озарила новейшие поколения и которые в глазах здравого смысла возвышают их над древними народами»... «В нас не развились эти новые силы... эта кротость нравов, потерявших свое первобытное зверство от покорности власти безоружной. Несмотря на название христиан, мы не тронулись с места, тогда как западное христианство величественно шло по пути, начертанному его Божественным Основателем. Мир пересоздавался, а мы прозябали в наших лачугах из бревен и соломы»... «Вспомните, что в продолжение пятнадцати веков они (люди Запада) молились Богу на одном языке, покоряясь одной нравственной власти, имели одно убеждение; вспомните, что в про-

должение пятнадцати веков каждый год в один и тот же день, в один и тот же час, одними и теми же словами все вдруг они возносили хвалебные гимны Всевышнему, торжествуя величайшее из Его благодеяний»...

И если, говорит Чаадаев, «эта сфера, в которой живут европейцы, — сфера единственная, где человеческий род может достигнуть своего конечного предназначения, — есть плод религии; если, напротив, враждебные обстоятельства отстранили нас от общего движения, в котором общественная идея христианства развилась и приняла известные формы; если все эти причины отбросили нас в категорию народов, которые не могли воспользоваться всем влиянием христианства, — то не очевидно ли, что должно стараться оживить в нас веру всеми возможными способами? Вот что я хотел сказать, говоря, что у нас должно переначать все воспитание человеческого рода». В заключение автор еще раз старается доказать, что вся история, все развитие Европы были результатом христианства и совершались в сфере оною. В ходе этого развития можно указать на примеры фанатизма и суеверий, это правда; но «пусть поверхностная философия вопиет что хочет против войн за веру, против костров, зажженных нетерпимостью: мы можем только завидовать народам, которые в этой ошибке мнений, в этой кровопролитной борьбе за истину создали себе целый мир идей»...

Таково содержание пресловутого «чаадаевского письма», наделавшего столько шума в свое время и которому и теперь еще стараются навязать характер политического памфлета. Как бы мы ни рассматривали этот документ, как бы ни поворачивали и ни комментировали, в нем нет ни скептицизма, находимого г. Пыпиным, ни фрондерства, которое усматривает в нем Герцен. Чаадаев вовсе даже не касается современного положения России, а что касается скептицизма в обыкновенном значении этого слова, то мы готовы повторить с одним из современников Чаадаева, что он в «Письме» своем состряпал акафист папе\*. Будь под этим «Письмом» подписано имя заграничного, особенно католического французского, мыслителя, вроде, например, Монталамбера, мы не нашли бы в его воззрениях ничего неожиданного, ничего, много раз уже не высказанного. Во всем вышеприведенном Чаадаев не только не скептик, но исполнен слепой веры в принятые им от чужих мыслителей воззрения. Что в самом деле говорит Чаадаев? Он говорит, что

\* *Свербеев <Д. Н.* Воспоминания об А. И. Герцене // Русский архив. 1870. С. 679.

исторические и географические условия не дали нам принять участие в ходе всемирной истории, в развитии всемирной культуры: разве это не говорили нам сто раз? Разве не конфузился Белинский, что мы-де ничего не совершили для человечества? Разве один из героев Тургенева не сказал, что мы сумели дать миру только самовар, да и то будто бы не наше изобретение? \*. А из этого Чаадаев очень последовательно со своей точки зрения выводит заключение, что нам надо как можно скорее прикнуться к движению Западной Европы, по возможности слиться с нею, — мысль тоже не новая, напротив, весьма общая среди мыслителей и политиков Запада, мысль, которая после наполеоновских войн начала проникать в русские культурные слои, а в тридцатых годах вырабатываться в теорию так называемого *западничества*. Вот основные воззрения Чаадаева (за исключением религиозных, о коих после): что же в них оппозиционного, скептического и, особенно, революционного? Но печать космополитизма приложена очень сильно, это неоспоримо. Это «Письмо» было написано в двадцатых еще годах, очевидно под влиянием заграничных западных воззрений. Позднее, в тридцатых годах, благодаря, может быть, обмену мыслей с возникшей тогда школой славянофилов, Чаадаев, не отказываясь вообще от своих воззрений на минувшие судьбы России, выражал веру в ее будущее: «История (то есть прошедшее) не принадлежит нам более, — писал он, — но будущее наше». И на такие упования, по словам Чаадаева, дает право именно история, прошедшее России, ничего прочного и твердого не выработавшей. Чаадаев с негодованием отрицает взведенное на него нарекание, будто он желал бы «уничтожить все наши воспоминания». К дорогим воспоминаниям он относил, например, 1612 год — момент, когда народ после смут междуцарствия самостоятельным порывом своих сил вновь основал порядок и возвел на престол новую династию»... \*\*

\* *Пыпин* <А. Н.> Характеристика литературных мнений // Вестник Европы. 1871. № 12. С. 499. Эта идея — не знаем, Чаадаеву ли принадлежащая, — преобразовалась среди славянофилов и народников *правой стороны* в понятие о «всечеловечности» русского народа — любимую идею Достоевского, а крайним западникам подала повод утверждать, а может быть, и в самом деле полагать, что в России легче, чем где-нибудь, произвести революцию не только политическую, но и социальную. Это постоянно провозглашал Герцен, и вот единственная точка соприкосновения с ним Чаадаева.

\*\* Du développement des idées révolutionnaires en Russie. 1853. С. 94<sup>5</sup>. (*Герцен А. И.* О развитии революционных идей в России. — *Примеч. сост.*).

Династию!.. Мы думаем, что тот, кто ознакомился бы с Чаадаевым чрез посредство воспоминаний о нем Герцена и исследований г. Пыпина, очень удивился бы тому, что этот будто бы «родоначальник русской политической оппозиции», что этот будто бы «патриарх русского скептицизма» говорит о династии, и притом вовсе без желчи, без «благородного гнева», хотя приведенные строки извлечены из рукописей и не подвергались, следовательно, цензуре. Чаадаев говорит о новой династии даже как о чем-то спасительном для России, он связывает представление о ней с представлением о восстановлении порядка. Каким же образом попал Чаадаев в число крупнейших деятелей по предмету развития революционных идей в России? А Герцен именно представляет его таким. В брошюре, озаглавленной «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», Герцен, описывая оскудение интеллигентных сил, последовавшее за погромом декабристов, восклицает: «Enfin il vint un homme dont l'âme débordait d'amertume... Sévère et froid, l'auteur demande compte à la Russie de toutes les souffrances dont elle abreuve un homme qui ose sortir de l'état de brute»... \* Чаадаев ли это? Тот ли это Чаадаев, которого мы старались характеризовать собственными его словами? Чаадаев, которого знала вся Москва, — этот эlegantный, безукоризненно опрятный джентльмен с лоснящеюся во всю голову лысиной, стройный и изящный до самой смерти своей, охотник и мастер говорить, привыкший, чтобы все безмолвствовало, когда он говорит, державшийся в свете с достоинством, человек умный и чрезвычайно разносторонне образованный, вообще недюжинный и очень независимо смотревший на фетишей той партии, к которой его хотят причислить и к которой менее всего он может быть причислен. Читатели знают, что пресловутая «Переписка» Гоголя была обругана, оплевана, проклята присными этой партии; они знают, может быть, не чернилами, а желчью написанное по поводу этой книги письмо Белинского к Гоголю, которое Герцен поспешил тиснуть тотчас по смерти автора в одном из своих заграничных изданий как образец «благородного образа мыслей». Так вот по поводу этой оплеванной поклонниками Герцена книги Чаадаев писал одному из своих петербургских приятелей \*\*:

\* Наконец пришел человек с душой, переполненной скорбью... сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния (Герцен А. И. Собр. соч. М., 1956. Т. VII. С. 221–222). — *Примеч. сост.*

\*\* Неизданные рукописи Чаадаева // Вестник Европы. 1871. № 9. С. 337.

«И все-таки он (Гоголь) и в том болезненном состоянии души и тела, в котором находится, сто крат выше всех своих порицателей и, когда захочет, то сокрушит их одним словом и размечет, как былые непотребное...»<sup>6</sup> А биограф Чаадаева, г. Жихарев\*, рассказывает, что, узнав от графа А. Ф. Орлова, старого сослуживца своего по гвардии, о вышеприведенном отзыве о нем Герцена, как о человеке, у которого желчь льется через край, Чаадаев собирался писать опровержение и просил графа исходатайствовать на это разрешение. «Каждый русский, — писал он, — каждый верноподданный царя, в котором весь мир видит Богом избранного спасителя общественного порядка в Европе\*\*, должен гордиться быть орудием, хотя и ничтожным, его высокого, священного призвания; как же остаться равнодушным, когда наглый беглец гнусным образом искажает истину, приписывает вам свои собственные чувства и кидает на ваше имя собственный позор?»

Вот что говорит о Чаадаеве история, вот черты, которыми он изображает себя сам: имел ли, спрашиваем, Герцен право причислять его к своим?!.. Правда, г. Жихарев дополняет свой рассказ следующим известием: Чаадаев дал-де предварительно ему прочесть свое письмо к графу Орлову, возвращая которое по прочтении, г. Жихарев сказал, что не понимает, «для чего он сделал такую bassesse gratuite (ненужную низость)».

— Mon cher, on tient à sa peau\*\*\*<sup>7</sup>, — ответил будто бы Чаадаев.

Может быть, этот анекдот и справедлив; может быть, действительно Чаадаев произнес приведенные слова. Но в таком случае стоило ли причислять Чаадаева к «своим»? Во всем том, что говорят о Чаадаеве Герцен и г. Пыпин, кидаются в глаза фальшь и тенденциозность. Весьма вероятно. Ибо смешно в самом деле пятидесятилетнему человеку, занимающему видное общественное положение, в течение пятнадцати лет прекрасно уживавшемуся с московскими и петербургскими властями, из коих со многими находился на ты, смешно, говорим, Чаадаеву так испугаться за свою шкуру по поводу даже не им, а о нем сказанных слов!.. Это приравнивало бы Чаадаева к комической личности, изображенной Достоевским в «Бесах» под именем

\* Вестник Европы. 1871. № 9. С. 50.

\*\* Это письмо писано, вероятно, в 1849 году и в приведенных из него словах заключается, кажется, намек на подавление Венгерского мятежа.

\*\*\* Мой дорогой, своей шкурой все дорожат (фр.). — Примеч. сост.

Верховенского... Напротив того, очень вероятно, что и польщенный в своем безграничном самолюбии возведением своим на пьедестал упоминанием о нем в таких модных изданиях, какими начинали быть издания Герцена, — весьма вероятно, говорим, что Чаадаев был, однако, недоволен тем, что на этом пьедестале написано: «революционер» или, по крайней мере, друг, пособник революции, распространитель революционных понятий. Это отнюдь не было почетным названием в том кругу, к которому принадлежал Чаадаев, да и ни в каком кругу тогдашней России; это притом не вязалось с его летами, с его общественным положением, с самим строем его мыслей, вполне уже раскрывшимся в наше время благодаря обнародованию переписки Чаадаева и извлечений из его ненапечатанных литературных трудов. Смотреть пессимистически на некоторые вещи — не значит еще быть революционером, то есть сторонником крутых, кровавых потрясений.

Но Герцену было выгодно заручиться именем Чаадаева, человека, во всяком случае, недюжинного и которого притом можно было поставить на пьедестал. Герцен был человек практический и знал возбуждающую, притягивающую силу имен. В 1855 году, начиная свою «Полярную звезду», он, обращаясь «К Нашим», напечатал крупным и жирным шрифтом: «Виктор Гюго, И. Мадзини, И. Мишле, Луи Блан, П. Прудон с нами». Точно так же он воспользовался — конечно, не без *маленькой* натяжки — именами Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя и Чаадаева. Притом все они были уже в могиле, кроме Чаадаева, который и собирался, как сказано, протестовать. Герцен наделил революционными поползновениями и литературные типы, созданные этими писателями, как, например, Чацкого и Онегина. О последнем он говорит: «Как все вы, он ожидал чего-то, потому что человек не довольно же глуп, чтобы верить долговечности современной России»\*. Не без революционной закваски, по взгляду Герцена, и герой «Тарантаса», совершающий «путешествие из Казани в Мордасы»<sup>8</sup>. Да не чужд ее и сам Ленский Пушкина. Он только для отвода глаз «поет» о Шиллере, о деве, о луне; в действительности это трагическая личность, «которая не может ужиться в порочной среде (не верьте, следовательно, что он собирался теснее связать себя с этою средой браком с Ольгой Лариной), но не может принять ничего от этой мрачной среды (du sol immonde), кроме только смерти». Что же касается «Философического письма», сказано: «La lettre de Tcha-

\* u développement des idées révolutionnaires en Russie. С. 72, 74, 96.

adaeff résonna comme une trompette d'appel: le signal fut donnée et de tous cotés partirent de nouvelles voix»... \* Читатель вслед за сим поставлен будет в возможность увидеть сам, каковы были те голоса, которые откликнулись на воззвание Чаадаева.

По следам Герцена пустились и наши исследователи «общественных явлений». Они, правда, не называют Чаадаева революционером, но выставляют его под усиленным оппозиционным освещением и в качестве врага «официальной России», то есть правительства, если не ошибаемся. Однако этим исследователям известно, что в 1839 году Чаадаев перевел на французский язык \*\* отмеченное тоже штемпелем официальности и доселе еще не прощенное Пушкину стихотворение его «Клеветникам России» \*\*\*<sup>9</sup>, а лет десять спустя, во время Венгерской кампании (тоже ненавистной поклонникам Герцена), Чаадаев, препровождая к Хомякову письмо какого-то очень важного в служебной иерархии лица, писал: «Не менее его (я) убежден, что будущее принадлежит *молодецкому* (слышите! и термин, напоминающий реляцию!) племени, которого он заслуженный, достойный предводитель, которого отличительная черта — благородство без хвастовства в победе, — черта столь явно выразившаяся в настоящую минуту», и далее, говоря, что теперь более, чем когда-нибудь, нам необходимо заниматься Европой, Чаадаев прибавляет: «Так, вероятно, думал и тот, который увенчал нас новою славною победой... Если бы мы не занимались Европой, *то нас не было бы в Венгрии, то мятеж не был бы укрощен (sic!)*, *то Венгрия не была бы у ног Русского Царя...*»<sup>10</sup> Спрашиваем: это ли язык, это ли понятия революционера, врага «официальной России», единомышленника Герцена с его заграничными *illustres amis*? \*\*\*\* А ведь нашим исследователям известны письма Чаадаева, и между прочими то, из которого извлечены только что приведенные нами выдержки; эти письма печатались в том самом журнале, как и исследования г. Пыпина, рядом, бок о бок друг с другом.

Посмотрим теперь, какие основания имеет г. Пыпин выставлять Чаадаева скептиком. Можно быть скептиком по некоторым частным вопросам; можно сомневаться в основательности

\* Письмо Чаадаева прозвучало подобно призывной трубе; сигнал был дан, и со всех сторон послышались новые голоса (Герцен А. И. Сочинения. М., 1986. Т. 2. С. 130). — *Примеч. сост.*

\*\* Точнее, переделал.

\*\*\* П. А. Чаадаев // Вестник Европы. 1871. № 9. С. 135.

\*\*\*\* знаменитыми друзьями (фр.). — *Примеч. сост.*

теории Дарвина, и особенно в том, чтоб ее стоило провозглашать с торжеством как великое для человечества благо; можно скептически относиться к сатире г. Щедрина и критике Писарева; но когда говорится о скептицизме вообще, не специализируя его сферы, то обыкновенно подразумевается скептицизм в деле религии. Но можно ли это отнести к автору «Философического письма», содержание коего выше изложено? Можно ли назвать скептиком того, кто, по словам Свербеева, написал акафист папе и кто в самом деле считает папскую власть и римский католицизм самым полезным, самым благодетельным историческим фактом? Можно и, по нашему мнению, должно находить односторонним взгляд Чаадаева; можно и должно сказать вместе с Пушкиным, что он видел (когда писал свое письмо) религию единственно в католицизме<sup>\*11</sup>. Но где же тут скептицизм? Разве г. Пыпин не видел в биографии Чаадаева, что ему приписывается обращение в католичество кое-кого из наших юных аристократов прежнего времени?.. Ведь эта биография, равно как и переписка Чаадаева, печаталась рядом с «Характеристиками» Пыпина, все в том же журнале, в котором Пыпин печатается ежемесячно... \*\*

Но, скажут мне, если в напечатанном «Философическом письме» не обнаруживается скептицизм Чаадаева, он обнаруживается, может быть, в остальных, в тех, которые не проходили сквозь фурукулы предварительной цензуры. Хотя и совершенно немислимо, чтобы цензура снабдила «Письма» Чаадаева католическим духом взамен скептицизма, посмотрим, однако, и остальные «Письма», поскольку раскрыл их содержание г. Пыпин в своих «Характеристиках».

Мы видели, что Чаадаев, согласно воззрениям католических богословов, считает, что не римский епископ отделился от вселенской церкви, а восточные патриархи. Отделение же это, утверждает Чаадаев, было причиной, что «мы остались чуждыми высоким доблестям, озарившим новейшие поколения», что таким образом мы не приняли участия в общем движении, «в котором общественная идея христианства развилась», и что единственное спасение наше — в возможно скором и полном вступлении в общехристианскую струю, которая вместе с тем есть и общеисторическая. Идея эта руководила деятельностью папы Григория VII, она господствовала над Европой много ве-

\* Письмо Пушкина к Чаадаеву в «Полярной звезде» 1861 года.

\*\* *Жихарев* <М. И. П. Я. Чаадаев // Вестник Европы. 1871. № 9. С. 53.

ков и выражена с замечательной образностью Виктором Гюго в известном монологе Карла V перед избранием его в императоры («Ernani»). Но не сущность римско-католической идеи занимает нас теперь, а то, как относится Чаадаев к ней или к идее религиозной вообще. Во втором из «Философических писем», бывшем в распоряжении г. Пыпина, мы находим дальнейшее развитие воззрений Чаадаева на значение христианства и вообще религии. В уме человека, говорит он, «нет другой истины, кроме той, которая была вложена в него в начале вещей самим Богом»\*. «Провидение или вполне мудрый разум управляет не только течением событий, но оказывает прямое и постоянное действие на ум человека», причем, однако, «разум человека остается совершенно свободным». В исторических судьбах своих «человек всегда шел по указанному ему пути только при свете истин, открытых ему высшим разумом». Современная наука старается проложить иные пути; но она не достигла «ни единства, ни той высокой нравственности, какая проистекала бы из ясного понимания универсального закона»\*\*. Руководящей мысли недостает, следовательно, нашему знанию. «Исторический материал теперь почти истощен; истории остается только размышлять (*méditer*)».

Вот эта-то руководящая мысль и принадлежит, говорит Чаадаев, христианству. «Новое общество было создано христианством, и создание (это) не было делом человеческим». Момент этого создания отмечен появлением умов, которые стали «желать истины и способны были принимать ее в каком бы они ни были состоянии (намек на общественное положение апостолов?), — все это отмечает то время поразительным характером Провидения и высшего разума. Христианская цивилизация, невзирая ни на какие препоны, растет и расширяется: то отгоняя народы (арабов, турок, татар?), то обнимая их в свою окружность (русских?); этот круг постоянно расширяется и приближает нас к возвращенным временам. Сила христианского общества заключается именно в том, что оно действительно одушевляется интересом мысли, и это самое составляет усовершенствование новейших народов, в которой находится тайна их цивилизации».

В третьем письме своем, тоже известном нам лишь в изложении г. Пыпина, Чаадаев еще более выдвигает значение хрис-

\* Характеристики. С. 480 и сл.

\*\* «La féconde et sublime idée d'universalité», — выражается Чаадаев в одном месте (Плодотворная и возвышенная идея единства. — *Примеч. сост.*).

тианства в судьбах человечества. Напротив того, пользу цивилизации эллинской, ее искусства и литературы он совершенно отрицает. «Эта (греческая) поэзия заменила собою другую поэзию (индийскую? еврейскую?), более высокую, более чистую». Что же до христиан, то «для нас Гомер остается только Тифоном или Ариманом настоящего мира. Гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданная любовь к земному — все это идет к нам от него... В других цивилизованных обществах мира (индийском, египетском?) никогда не было ничего подобного (!). Только греки вздумали идеализировать и обоготворять порок. Таким образом поэзия зла была только у них и у народов, наследовавших их цивилизацию. В средние века можно ясно видеть, какое направление приняла бы мысль христианских народов, если б она вполне отдалась той руке, которая вела ее». Что это за рука — кажется, объяснять не надо.

Нет надобности нам входить в рассмотрение философии Чаадаева. Однако нельзя и не сказать о ней несколько слов.

Может ли, хотелось бы нам спросить, выдержать даже самую поверхностную критику мысль Чаадаева, будто самостоятельною, саморазвивающеюся жизнью живут только западноевропейские народы, те, которые находятся или хотя <бы некогда находились под духовным главенством папы, которые совершили крестовые походы, пережили феодализм, Карла Великого и Карла V, эпоху Возрождения, псевдоклассицизм, религиозные и крестьянские войны и пр.? Точно ли в этот *grand monde*\* истории могут быть допускаемы народы плебейского происхождения лишь под условием обезличиться?.. Если у русского мог повернуться язык, чтобы высказать такую мысль по отношению к России, то, казалось бы, единственно под давлением неотразимых данных. Но разве их имел Чаадаев? Разве можно сказать не в виде зубоскальства, что Россия ничего не дала миру, кроме самовара? Если Испании и Карлу Мартеллу отводится почетное место во всех даже учебниках за спасение Европы от мавров, то как же России и Димитрию Донскому отказать в том же за спасение Европы от татар? А освобождение опять той же Европы от Наполеона I, о чем менее всего позволительно забывать Чаадаеву, современнику великой эпохи? Не по милости ли России для цивилизованного мира открылось Черное море?

\* великий мир (*фр.*). — *Примеч. сост.*

Не она ли обратила пустыни нынешнего Новороссийского края и кавказские и крымские невольничьи рынки в житницы Западной Европы? Не ее ли кровью куплена независимость христиан Балканского полуострова? Ведь в 1836 году, когда Чаадаев напечатал свое пресловутое «Письмо», Греция была уже совершенно освобождена от турецкого ига, Румыния — наполовину, Сербия отчасти — и все это благодаря России. В эпоху обнародования «Философского письма» нельзя было, положим, предугадать, какое место займет русское искусство в области искусства всемирного; но, имея уже Пушкина и образцы старинного зодчества, можно все-таки было с меньшим пессимизмом взирать на культурные силы России.

Но оставим Россию в стороне. Неужели можно допустить, что турки, китайцы, египтяне, японцы, войдя в сношения с Европой и вступив в сферу выработанной ею культуры, совершенно потеряют свою национальную индивидуальность? Ведь и народы франко-романской и англо-германской рас не копия же один с другого — не по одному же они сработаны. Чаадаев полагал, что народы, не пережившие известных исторических событий и эпох, теряют способность к культурной жизни и могут сделаться народами историческими не иначе как под условием отречения от своей цивилизации. Но ведь римляне не пережили эллинской цивилизации, однако они приняли ее плоды, не обратившись притом в греков. Точно так же народы Западной Европы приняли цивилизацию древнего мира, не лишившись, однако, своей национальной индивидуальности. Почему же именно с России должен начаться новый, небывалый исторический закон? Не вернее ли будет допустить, что сама провозглашенная Чаадаевым теория есть не что иное, как доказательство иного, непреложного исторического закона, — а именно что народы, вступающие в сферу всемирной цивилизации, должны неизбежно пережить период подражательности, заимствований и духовного подчинения своим образцам, чтобы затем, пережив этот период и став, так сказать, на ноги, идти своим путем. Подчинение римлян эллинской цивилизации было еще сильнее, чем наше западноевропейской: оно коснулось не только мод, образа жизни, искусства, науки, но и религии (мифологии). И однако жизнь римлян выработала вполне самостоятельные юридические и политические начала. Франции подражали с половины XVIII века в Англии и Германии, но во второй половине и в конце этого века конституционализм Англии и философия Германии начали в свою очередь влиять на Францию. Вот соображения, которые могли бы, кажется, предста-

виться Чаадаеву; он мог бы, полагаем, задаться вопросом: не эту ли именно эпоху подражательности переживает Россия? А если он не сделал этого вопроса, то, без сомнения, потому, что сам принадлежал к ней.

---

На этом мы могли бы заключить наши исследования о ложном освещении, под коим выведен Чаадаев в истории нашей литературы. Но излишне будет, мы думаем, обратить внимание на то, как отнеслись к «Философическому письму» и заключающимся в нем воззрениям в различных сферах тогдашнего нашего общества, как отнеслось к нему наше духовенство. Ибо, даже откидывая второе и третье «Письма», одно первое должно было бы, по-видимому, вызвать споры и опровержения в сфере религиозных вопросов. Ведь Чаадаев, в закрытых, конечно, выражениях, провозглашал Русскую и всю Восточную церковь схизматической, мертвенною, лишенною всякой действительной силы, не смогшею воспитать в народе нашем ни религии, ни нравственности. Он объявлял ей смертный приговор и поглощение ее папизмом, полагая притом, что чем скорее это случится, тем счастливее будет Россия... И однако мы не имеем никаких данных, чтобы заключить о том, что Чаадаеву дан был или хотя бы готовился отпор со стороны, наиболее заинтересованной. Не то чтобы духовенство наше было равнодушно к тому, что говорится о нашей церкви: тогдашний Петербургский митрополит немедленно обратился к защите Верховной Власти как покровительнице православия, как только узнал о направленных против одного обвинений. Но он узнал о статье Чаадаева уже из вторых рук, и притом от человека светского (Вигеля). А это наводит нас на некоторые размышления. Это снова наталкивает нас на мысль, уже высказанную нами недавно\*. Что между нашею духовною и нашею светскою литературой все меньше и меньше, к сожалению, становилось общего начиная с конца XVIII века. Каждая из них имела свою отдельную сферу деятельности, своих особых деятелей, свои специальные мотивы, свою особливую публику. Недаром преосвященный Евгений составил особый «Словарь» светских писателей и особый — «писателей духовного чина», причем, не мешая заметить, в последнем не было дано места Лабзину, издателю «Сионского

---

\* Искусство, религия, народность // Русск<ий вестн<ик . 1883. № 4.

вестника» и постоянному глашатаю религиозной идеи... Таким образом, у нас образовались два отдельных русла идей, стремлений, духовных потребностей, два стана, отчасти враждебных друг другу, а еще больше — один другому чуждых. Может быть, ни одно лицо духовного звания не прочло бы статьи Чаадаева, если б она не вызвала известной катастрофы. А может быть, скажут, какой-нибудь чернец или священник-богослов очинил уже перо, подобно Хомякову, чтоб опровергнуть Чаадаева... — Но отчего же нам известно это о Хомякове и не известно о чернце или священнике? Что ж это за неведомый, хоть и на глазах наших находящийся, мир! Как ни поворачивай, все печально! Не менее печально и то, что духовенство, в лице Петербургского митрополита, обратилось для защиты православной церкви к светской власти, к мерам карательным, вместо того чтобы действовать путем убеждения и черпать силы из собственного лона... Или, может быть, этих сил действительно не существовало? Но довольно назвать Филарета Московского и Иннокентия Херсонского, бывших в то время в полном развитии своих сил, чтоб устранить сомнение, будто некому было выступить со стороны нашей церкви против Чаадаева.

Но так или иначе, по той или по другой причине, духовенство наше прошло молчанием «Письмо» Чаадаева. А светское общество? Оно было страшно взволновано этим «Письмом», в Москве по крайней мере. Около половины октября (1836 г.), говорит в ироническом тоне москвич-современник\*, разнесся с необыкновенною быстротой слух... о «непонятной, неизъяснимой статье, помещенной в “Телескопе”, извергавшей страшную хулу на Россию, отрицавшей в ней какую бы то ни было историческую жизнь, какое бы то ни было разумное существование, именовавшей ее прошедшее ничтожным, ее настоящее презренным, ее будущее не существующим, не мыслимым. Дерзновенный философ-историк, отступник веры праотцев и отечества, друг за другом перебрав все проявления русской исторической жизни, не нашел в них ни одного, достойного благословения или сочувствия, и с отвращением и ужасом отворотился от протекшего бытия своего народа, неумолимо признавая всю *целость* его существования чудовищным вещественным фактом без внутреннего содержания, огромною аномалией, ничем другим, как отрицательным поучением человечеству, животным прозябанием...» Причиной же этого, по свидетельству тогдашних «стро-

\* Жихарев в вышеупомянутой статье, с. 30. В «Рукописях» мы находим письмо Чаадаева, в коем говорится: «Поражение мое произошло 23 октября» (с. 326)<sup>12</sup>.

гих ценителей и судей», говорит г. Жихарев, автор выставял «недостаточность религиозного направления и развития, неправду и растление греческого православия»... Раздражение было всеобщее. «Безусловно сочувствующих и совершенно согласных не было ни одного человека». Никогда «никакое литературное или ученое событие ни после, ни прежде этого (не исключая даже смерти Пушкина) не производило такого огромного влияния». Почти то же говорит Герцен. По его словам, «после “Торя от ума” не было литературного произведения, которое сделало бы такое впечатление, как “Письмо” Чаадаева»... «Все были изумлены, большинство оскорблено; человек десять громко и горячо рукоплескали автору. Толки в гостиных предупредили меры правительства»\*.

Очевидно, что из сказанного Жихаревым надо откинуть, по крайней мере, десять процентов. Наддавать было нужно биографу Чаадаева, чтоб ярче выставить недостаток либерализма тогдашней Москвы: «Тупоумные, невежественные, полупомешанные святоши, изуверы или ханжи, поседельные или одичалые в пьянстве, молодые отчизнолюбцы и старые патриоты — все соединилось», говорит Жихарев, «в одном общем вопле проклятия и презрения человеку, дерзнувшему оскорбить Россию»... И точно, скажем мы в свою очередь, как могла Россия не поднести благодарственный адрес человеку, дерзнувшему оскорбить ее! Впоследствии это и делалось, но в половине тридцатых годов Россия жила еще под влиянием возвышающих душу воспоминаний двенадцатого года. Влияния Герцена тогда еще не существовало. Никто притом не думал тогда, чтобы написавшего очень вздорное во многих отношениях «Философическое письмо» можно было приравнивать к Нибуру и давать ему название творца критического взгляда на русскую историю. Без сомнения, его имел в виду поэт Языков, характеризуя в известном стихотворении своем «Не наши» тех, «которые отреклись от России и от которых отрекается Россия»<sup>13</sup>. Поэтому, становясь на точку зрения людей 1836 года, Жихарев говорит: «Мера, придуманная правительством, не заключала\*\* в себе ничего

\* Былое и думы // Полярная звезда. 1852. 103.

\*\* Издатель «Телескопа» Надеждин был сослан в Вологодскую губернию на время, а цензор (Болдырев) отставлен, журнал прекращен, а относительно статьи Чаадаева было признано, что написать ее мог лишь не находящийся в здравом уме русский; поэтому сделано было распоряжение, чтобы Чаадаева ежедневно посещал врач, что продолжалось примерно месяц. См.: Биография Чаадаева и его «Рукописи» // Вестник Европы. 1871. № 9. С. 36–39; № 11. С. 327.

особенно жестокого и свирепого; она даже могла быть сочтена за кроткую и милостивую и сверх того должна была казаться в высокой степени популярною для того (потому), что — как соглашался и сам Чаадаев — не только не превзошла ожиданий и гнева большинства публики, но и не совсем им удовлетворила»<sup>14</sup>. Хомяков уже обмакнул было перо в чернила, чтоб ответить Чаадаеву и разобрать его «Письмо», но чувство деликатности остановило его, когда его противника постигла административная кара.

Итак, вот как отнеслось к философии Чаадаева московское общество, и мы едва ли ошибемся, если вместо московского скажем: русское, всероссийское общество. Порицание и негодование были общие; рукоплескали каких-нибудь десять человек во всей Москве, а следовательно, никак не больше сотни во всей России. А если так, то, оставляя в стороне вопрос о достоинствах и несовершенствах этой философии, мы спрашиваем, имела ли она органическую связь с нашим обществом (не говорим *народом*)? Духом ли этого общества она вызвана? Его ли потребности удовлетворить стремилась? Мы отчасти уже касались этих вопросов и отвечали на них отрицательно. Мы говорили и повторяем, что «Философические письма» суть, в сущности, компиляции по отношению к сочинениям тогдашних мыслителей-клерикалов Западной Европы, эти воззрения сложились самостоятельно как результат стремлений и потребностей народных. Напуганные, сбитые с толку пронесшимся над ними революционным ураганом и истребительными войнами, народы Западной Европы готовы были припасть с плачем покаяния к стопам папы и поклониться идеалам средних веков. Но в совершенно ином положении была Россия в половине тридцатых годов. Настроение ее было *мажорное*; воспоминания Двенадцатого года и роль, которую играла Россия в эпоху конгрессов, не были еще забыты, а затем следовало участие наше в освобождении Греции, восстановление Сербии и Дунайских княжеств, поход за Балканы и взятие Варшавы... и вдруг этому *мажорно* настроенному обществу, гордому своим государственным величием, говорят, что все прошлое этого государства презренно и ничтожно и что для него нет будущности! Допустим, что сказать это было нужно, что сказанное было страх как умно, но все-таки очевидно, что сказанное высажено где-то на стороне, а никак не среди этого *мажорно* настроенного общества. Это подтверждается и приведенными нами свидетельствами о впечатлении, произведенном «Письмом» Чаадаева; поэтому

поэт Языков был, несомненно, прав, включая в число «Не наших» и Чаадаева.

Таким образом, это «Письмо» представляется нам резким диссонансом между нашею литературой и нашим обществом, первым решительным шагом этой литературы в область отвлечений и не для нас составленных теорий, в область призраков, космополитизма и духовного порабощения Западу. Но, как мы видели, Чаадаев-человек обнаруживал чисто русские понятия и симпатии, которых не видим у Чаадаева-писателя: даже увидим мы, что и литература наша не вся подверглась духовному порабощению, не вся отреклась от национальности.

